

# «Способ совести избран...»

**Уходя, 1993 год одарил Беллу Ахмадулину двумя литературными премиями: Пушкинской (ФРГ) и отечественной «Триумф». Что чувствует, о чем размышляет в эти дни «триумфатор», ведь судьба не баловала поэтессу официальными почестями?**

- Конечно, мне это приятно, да и поддержит в многосложной жизни. Триумфатором себя никогда не ощущала, напротив, привыкла принимать чужую боль, и горбом она на мне выросла. Обычно прямой мой позвоночник от усталости многих лет несколько понурился, и вдруг... премии. Когда мне сообщали, я, признаться, не верила: «Смеетесь, что ли?» Нет, оказалось, присудили. И я заметила в последние дни в себе некоторое спокойствие. И печаль одновременно: содеянное мной встает каким-то бледным незавершенным списком. Но, думаю, если мне достает честности так себя осознавать, то пусть я приму эту милость людей и судьбы как некоторое одобрение. Право, я в этом одобрении подчас очень нуждаюсь.

**...Она все та же - хрупкая, стройная, с внутренней вибрацией волнующего душу голоса. Черный старенький свитер со старинной брошью у плеча, такого же цвета спортивное трико и не расстающиеся с сигаретой тонкие пальцы. Белла Ахатовна и сейчас, дома, среди кухонной утвари, антикварных граммофонов и тяжелых рам с театральными эскизами мужа-художника, смотрит на тем же нездешним цветом печали, что и на эстраде десять, двадцать, тридцать лет назад. Шум вокруг ее имени, как и имен друзей ее, коллег по стихотворчеству - Окуджавы, Высоцкого, Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, - был огромный. Их не жаловала партийная власть, запрещали идеологи, и потому печатались они нечасто, а эстрада возмещала обоюдное желание общения - поэта и читателя.**

- Я провела на сцене неимоверно много часов. Многотысячные поэтические вечера в Лужниках, в Политехническом музее, на стадионах, клубах разных городов и сел - во всем этом я участвовала. Я зарабатывала иногда этими концертными трудами. Когда не разрешали выступать в столицах, ездила по провинции. Делала свое чтецкое дело крайне честно. Успех волновал, конечно. Но и тогда мы понимали, что все те огромные толпы публики были гонимы на стадионы не прямым влечением к поэзии, а к тому свободному слову из наших уст, что будоражило их нервы, обнадеживало относительно какого-то близкого будущего.

**- «Поэт в России больше, чем поэт...» - не эта ли строка Евтушенко объясняла происходившее на ваших вечерах?**

- Благородный смысл строки я понимаю: поэт - и вождь умов и дирижер настроений. Хотя, мне кажется, поэт - явление совершенно самодостаточное, не надо ни меньше, ни больше. Да и прямая роль поэта - не стояние на сцене, а сидение за столом. Поэт, который очень много общается с публикой, так или иначе оказывается в зависимости от нее. Я это по себе знаю. Много времени проводя на сцене, я чем-то жертвую в себе. Да и после выступлений у меня всегда какой-то карантин получается: не могу писать. Публичное существование, несомненно, вредит тому уединению, которое пестует и мысль и звук.

Но о том времени я не сожалею. Это было естественное поведение поэта. Мы все испытывали некоторое возбуждение, собираясь вместе. Когда, помню, про Вознесенского напечатала «Правда» пасквиль, а вечер наш не успели отменить, то отзвук публики был необыкновенный на стихи. Хотя, понятно, это не всегда был поэтический успех, а просто пререкание с прессой, властью.

**- А сейчас у вас нет оснований или желания пререкаться с властью?**

- Верноподданническое отношение к власти со мной несовместимо. Я так воспитана с ранней молодости. Только противостояние естественно для меня. А предпосылки тому были самые простые. Первый выбор пришлось сделать тогда, когда травил Бориса

Пастернака. Я училась в литературном институте. От студентов требовали осуждения автора романа «Доктор Живаго». Угрожали тому, кто осуждение не подпишет. Я не могла подписать, что бы мне ни говорили. Меня исключили из института. Потом я поняла, насколько значителен для меня же был тот произвольный мой поступок. Он меня стал обнадеживать. И много позднее, в 80-е, когда власти обличали Андрея Сахарова, я не могла поступить иначе. Мне говорили: «Что, ты спасти его надеялась?» Нет, это я себя спасала. Мой поступок был как бы эгоистичен: не хотела замараться и потому обязала себя что-то «вякнуть». В стихах как-то написала: «Способ совести избран и теперь от меня независим». Но за своей совестью тоже надо приглядывать. Способ-то избран, но ты сам свой opiekун. Звезда тебя хранит, но все-таки ты все время должен быть готов к какой-то жертве.

А что касается нынешней власти, то время такое сложное, что, имея хоть семь пядей во лбу, разобраться во всех этих лозунгах действительно трудно. Я ощущаю человеческую симпатию к Ельцину. Может быть, чисто интуитивную. Его отрешение от бывшего - результат его устройства - мужицкого, человеческого. По-моему, он не имеет личной корысти, любит страну.

**- Вам по душе перемены в России?**

- Я довольно-таки давно живу. Сильнейшее впечатление в юности то, что я видела своими глазами: возвращение людей из сталинских лагерей. Казалось, что время не то что треснуло - сломалось. Но, оказалось, не так. И вскоре мы в этом убедились. За поблажками последовал обратный ход, репрессии. Для кого - литературного свойства, для кого - совсем мрачно-юридического. В 1968-м, с приходом советских танков в Прагу, кончились наши обошечення. И с молодостью было покончено: моим друзьям всем было по 30. Возраст достаточный, чтобы очнуться. Замечу, что если до этого мы - разные - были вместе, то с этого года каждый пошел своим одиноким путем. Мои коллеги были более знамениты, привлекали к себе больше внимания, чем я. Я же тихо писала, читала. У меня была счастливая черта: никогда не рвалась печататься. И еще: на меня никак не действовала попытка властей или угрожать мне или поощрять, скажем, приманкой поездки в чужеземства. Я ощущала за собой пригляд, присмотр со стороны властей. И хотя жила всегда открыто, подписывала время от времени какие-то письма-протесты, прямые репрессии меня обходили. Что-то в печати появлялось. «Мелодия» издавала мои пластинки. Так текли 70-е. Я искренне думала, что всегда буду жить при Брежневе. Абсолютно не сомневалась, что это входит в мой жизненный удел. Возможны, полагала, варианты, но суть будет одна и та же. Меня не преследовали, но людей-то сажали в тюрьмы. Это касалось и моих друзей. В опасном положении оказались Владимир Войнович, Георгий Владимов. Прикрыли, разогнали безобидную затею нашу - альманах «Метрополь»... потом гробы с нашими парнями из Афганистана...

На Запад один за другим уезжали друзья, знакомые писатели, художники, музыканты... И вдруг - перестройка. Вначале я ни во что не поверила. Обошечений не было. Вспоминаю, летом 1985 года в застолье Андрей Битов сказал печально: «Кровь польется...» Так и вышло. Горбачева я воспринимала не как ярко слепленную и сформулированную персону, а как пересечение каких-то обстоятельств, материализованных в этой фигуре... С Россией все время происходит что-то трагическое. В октябре дым, огонь, свист пуль - все было рядом с моим домом. Я всерьез беспокоилась, что это может кончиться бедой ужасной. Но, слава Богу, обошлось. Население ожесточено невзгодами. Но, знаете, я не уверена, что тем кротким, недоедающим, плохо живущим людям, которым протыкают микрофоны, чтобы показать край бездны, у которой стоит Россия, раньше было намного лучше. Я ездила по бывшему Союзу. Никогда никакого изобилия в провинции не было. Пустые магазины в Сибири, в Иваново, Калуге. Где и когда благоденствие было? - спрашиваю я себя, слушая вопли каких-то кухонных скандалисток, славящих коммунистическое прошлое. Они-то, мне кажется, в основном и голосовали за Жириновского. Довольно мрачный исторический персонаж этот так или иначе попортит нам нервы, будет мешать попыткам разумной жизни. Но все-

таки больно уж он ничтожен, чтобы поверить, будто окажется роковым для России человеком.

Общее плохое умственное и этическое состояние общества внушает тревогу. Но не верить в оздоровление нельзя.

**- Может быть, поэтому каким-то особым добрым знаком, неким противостоянием общей смуте в умах и чувствах воспринято было всеми, кому дорога Россия, ее культура, присуждение вам - поэтессе сразу двух престижных премий?**

- Я получила огромное количество поздравлений от незнакомых людей, ощутила утешительную любовь и пылкую нежность от взволнованных и обрадованных за меня друзей. Я поговариваю иногда, что лучше, что от меня останется, - это письма читателей. Их много. Это письма очень хороших и печальных людей. У них нет и никогда не было в достатке продуктов, шикарной одежды. Но мысли об этом их не очень обременяют. Книги поэта, его голос - в этом они нуждаются.

**- Их много, ваших поклонников?**

- Я думаю, что круг читателей, которых я могу назвать своими, не очень широк. Но успех поэта не обязательно измеряется количеством публики - слушающей или читающей. Помню, я еще в школе училась, в старших классах, и случайно зашла в клуб МГУ. Меня поразило то, что я там увидела. По ощущению дрожь, неосознанного озноба - это совершенно шекспировское впечатление. На сцене стоял некий человек в темном и читал стихи, хотя я сначала не поняла, музыку какого рода излучают его уста. Зал был пуст, и только первые ряды были заняты немолодыми изящными дамами в черных платьях. Они торжественно внимали. А на сцене стоял Борис Леонидович Пастернак. Так я увидела его в первый раз. В узком кругу изысканных почитателей, друзей, близких. Это были пятидесятые годы. Живы

были еще Анна Ахматова и Арсений Тарковский, и Мария Петровых. Никакие толпы вокруг них не собирались, а они были лучшее из того, что мы имеем в поэзии. Они несли, сохранили ту культуру русской речи, которая для нас навсегда останется.

**- Выделяете ли вы, Белла Ахатовна, кого-либо из современных поэтов?**

- Иосифа Бродского. Я считаю, что, кроме изначальных его совершенных данных, безукоризненной одаренности, его поэтическому росту способствовала... архангельская высылка. Больше, чем для меня и моих московских собратьев - стадионы, на которых мы выступали.

Поэт Бродский перестал, к счастью, быть тайной для читающей публики. Наоборот - стал учителем. Я его влияние очень замечаю на творчестве литературной молодежи. Кстати, Иосиф Бродский - ленинградец. А ленинградские поэты в те 60 - 70-е годы жили более задавленно, чем мы, москвичи. Они не шумели на стадионах, жили чисто, писали искренно, интересно. Им не давали печататься. Одни попадали в тюрьмы, другие умирали от пьянства, третьи уезжали за границу. Вот это противление всякому давлению, насилью над духом воплотил в своих стихах Бродский.

**...Последний сборник избранного Беллы Ахмадулиной помечен 1988 годом. Она по-прежнему не рвется печататься. На вопрос о планах как бы извиняется: «Все надеюсь дописать кое-что...» Концерты? Она не скучает по стадионам, любит теперь изящные аудитории. Не в смысле избранности слушателей, а размера помещений. Недавно провела такой вечер в музее Пушкина вместе с Булатом Окуджавой. Образ жизни? Предполагается, что с таким именем и внешностью он по всем статьям элитарный. А Белла любит деревню. Вспоминает, что ее любимые собеседники - нижайшие обитатели вокзалов... А муж тем временем ее торопит: пора выезжать, где-то их ждут. Прощаюсь. Выхожу на Арбат. Вокруг совсем по-ахмадулински: «блещут снега... холод окреп, а с утра моросило... дико и нежно сверкает фольга на каждом углу и в окне магазина...»**

Валерий САНКОВ.